

Г.Л. Менкену и С. Стенвуд
Менкен с восхищением

КРАСНЫЙ И ЧЕРНЫЙ СМЕХ

Единственный источник истинно смешного есть (как мне кажется) притворство.

Генри Филдинг

1

Йоги Джонсон стоял, глядя в окно крупной насосной фабрики в Мичигане. Скоро весна. Неужели то, что сказал этот писака Хатчинсон — «Коль пришла зима, весна не за горами», — снова сбудется и в этом году? — думал Йоги Джонсон. Неподалеку от Йоги, через одно окно, стоял Скриппс О'Нил, длинный худой мужчина с длинным худым лицом. Оба стояли и смотрели на пустой двор насосной фаб-

брики. Снег покрывал упакованные в ящики насосы, которым вскоре предстояло отправиться по назначению. Как только придет весна и растает снег, рабочие с фабрики разберут штабеля, в которых под снегом лежат сейчас насосы, и отволокут их на станцию G.R. & I, где их погрузят на открытые платформы и увезут. Йоги Джонсон смотрел через окно на погребенные под снегом насосы, и его дыхание оставляло на холодном оконном стекле маленькие прозрачные следы. Йоги Джонсон думал о Париже. Быть может, именно маленькие прозрачные следы на стекле напомнили ему о веселом городе, где он некогда провел две недели. Две недели, которым суждено было стать самыми счастливыми неделями его жизни. Теперь это было позади. Это и все остальное.

У Скриппса О'Нила было две жены. Стоя у окна, длинный, худой и жизнестойкий благодаря кое-какой внутренней кре-

пости, он думал о них обеих. Одна жила в Манселоне, а другая жила в Петоски. Жену, которая жила в Манселоне, он не видел с прошлой весны. Он смотрел на заваленный снегом складской двор и думал: что означает весна? Со своей манселонской женой Скриппс часто напивался. Когда он напивался, они с женой были счастливы. Они, бывало, отправлялись вместе на вокзал и шли по шпалам, а потом сидели рядом и пили и смотрели на идущие мимо поезда. Сидели, бывало, под сосной на вершине небольшого холма над насыпью и пили. Иногда они пили всю ночь. Иногда они пили целую неделю подряд. Это было им на пользу. Это делало Скриппса сильным.

У Скриппса была дочь, которую он шуточно называл Лузи* О'Нил. Ее настоящее имя было Люси О'Нил. Однажды ночью, когда Скриппс со своей старухой пили у железнодорожной насыпи уже третий или четвертый день, старуха вдруг куда-то

* Lousy — вшивый, грязный, мерзкий (*англ.*).

исчезла. Он не знал, куда она подевалась. Когда он очнулся, кругом было темно. Он пошел вдоль путей обратно в город. Шпалы под ногами были твердыми и упругими. Он попробовал ступать по рельсам. Ничего не вышло. Он хорошенько выпил еще и пошел вдоль полотна. Путь до города был длинным. Наконец он добрал туда, где виднелись огни сортировочной станции. Он отклонился от путей и прошел мимо манселонской средней школы. Это было здание из желтого кирпича. В нем не было ничего от рококо, в отличие от домов, которые он видел в Париже. Нет, он никогда не был в Париже. Это был не он. Это был его друг Йоги Джонсон.

Йоги Джонсон смотрел в окно. Скоро наступит время закрывать фабрику на ночь. Он осторожно открыл окно, раздался тихий скрип. Всего лишь тихий скрип, но этого оказалось достаточно. Снег во дворе начал таять. Подул теплый ветерок. Чинук, как называли его ребята с на-

сосной фабрики. Теплый чинук ворвался на фабрику через окно. Все рабочие отложили свои инструменты. Многие из них были индейцами. Мастер был коротышкой с железными челюстями. Однажды он совершил путешествие аж до Дулута. Дулут находился далеко, за синими водами озера в горах Миннесоты. Там с ним случилось нечто удивительное.

Мастер послунывил палец и поднял его над головой. Он почувствовал пальцем теплый ветер. Он печально покачал головой и улыбнулся рабочим, быть может, чуточку сурово.

— Что ж, ребята, вот и чинук, — сказал он.

Рабочие повесили на крюки свои инструменты. Незаконченные насосы остались на верстаках. Рабочие, кто болтая, кто молча, а кое-кто невнятно ворча, потянулись в душевую мыться.

Снаружи через окно донесся индейский боевой клич.

Скриппс О'Нил стоял перед манселонской средней школой, глядя вверх, на освещенные окна. Было темно, и шел снег. Он шел всегда, сколько помнил Скриппс. Прохожий остановился и посмотрел на Скриппса. Впрочем, какое ему дело до этого человека? Он пошел дальше.

Скриппс стоял под снегом и смотрел вверх на освещенные окна средней школы. Внутри люди что-то изучали. Они трудились до позднего вечера, парни соперничали с девушками в стремлении к знаниям, жажда знаний захлестнула Америку. Его девочка, маленькая Лузи, девочка, за которую пришлось выложить докторам целых семьдесят пять долларов, тоже сидела там и училась. Скриппс был горд. Ему было слишком поздно учиться, но там, внутри, день за днем, вечер за вечером, училась Лузи. У нее были природные задатки, у этой девочки.

Скриппс пошел дальше, домой. Дом не был большим, но для старухи Скриппса не размеры были важны.

— Скриппс, — частенько говаривала она, когда они пили вместе, — мне не нужен дворец. Единственное, что мне нужно, — это место, куда не проникнет ветер.

Скриппс поверил ей на слово. Теперь, когда шел поздним вечером под снегом и видел огни собственного дома, он испытывал радость оттого, что поверил ей на слово. Это было лучше, чем если бы он шел домой во дворец. Он, Скриппс, был не из тех, кому нужен дворец.

Он открыл дверь своего дома и вошел. Что-то продолжало роиться у него в голове. Он попытался выкинуть это из головы, но тщетно. Что же означает то, что написал этот парень, поэт, с которым его друг Гарри Паркер однажды познакомился в Детройте? Гарри любил цитировать: «И наслажденья, и дворцы, и та-та мне знакомы, тарата-та-та-ра-та-та нет места

лучше дома». Он не помнил слов. Помнил не все. Он написал простенькую мелодию к ним и научил Люси петь эту песенку. Это было, когда они еще только поженились. Скриппс мог бы стать композитором, одним из тех парней, что пишут музыку, которую исполняет Чикагский симфонический оркестр, если бы у него была возможность продолжать. Сегодня вечером он заставит Люси спеть ему эту песню. Он больше никогда не будет пить. Пьянство лишает его музыкального слуха. Когда он пьян, гудки ночных поездов, которые тащатся в горку к Бойн Фоллз, кажутся ему прекраснее всего того, что когда-либо написал этот малый, Стравинский. А все из-за пьянства. Это неправильно. Он уедет в Париж. Как тот парень, Алберт Спелдинг, который играет на скрипке.

Скриппс открыл дверь. Он вошел.

— Люси, — позвал он, — это я, Скриппс.

Он больше никогда не будет пить. Больше никаких ночей на насыпи. Может, Люси нужна новая шубка? Может, в конце концов, ей нужен таки дворец вместо этой хибары? Никогда не знаешь, правильно ли ты обращаешься с женщиной. Может, в конце концов, это место и не защищает от ветра? Фантастика. Он зажег спичку.

— Люси! — позвал он, и в его голосе прозвучала нота смертельного ужаса. Его друг Уолт Симмонс слышал точно такой крик, когда на Вандомской площади в Париже автобус врезался в жеребца. В Париже не было меринов. Все кони были жеребцами. Кобыл там не разводили. Во всяком случае, после войны. Война все изменила.

— Люси! — крикнул он, и снова: — Люси!

Ответа не было. Дом был пуст. Сквозь набитый снегом воздух, когда Скриппс стоял один, в тощей своей долговязости, в собственном покинутом доме, его ушей издалека достиг индейский боевой клич.

Скриппс покинул Манселону. Он закончил с этим местом. Что мог подобный город ему дать? Ничего. Вот так работаешь всю жизнь, работаешь — и вдруг с тобой случается такое. От многолетних сбережений не осталось и следа. Все разошлось. Теперь он отправлялся в Чикаго искать работу. Чикаго — вот то, что надо. Взгляните на его географическое местоположение — точнехонько на оконечности озера Мичиган. В Чикаго можно делать большие дела. Это любому дураку понятно. Эх, надо было купить землю там, где теперь располагается Луп — крупный торговый и промышленный район. Купить землю по дешевке и держаться за нее. Пусть бы попробовали отнять. Теперь-то он кое-что соображает.

Один, с непокрытой головой, с запорошенными снегом волосами, он шел вдоль железнодорожного полотна G.R. & I.

То была самая холодная ночь в его жизни. Он подобрал мертвую птицу, которая окончена и упала на рельсы, и положил ее за пазуху, чтобы отогреть. Птица угнездилась на его теплом теле и благодарно тюкнула его клювом в грудь.

— Бедный малыш, — сказал Скриппс. — Ты тоже страдаешь от этого холода.

Слезы навернулись ему на глаза.

— Черт бы побрал этот ветер, — сказал Скриппс и снова подставил лицо вьюге. Ветер дул прямо с озера Верхнее. Телеграфные провода гудели от ветра над головой Скриппса. Сквозь мглу он видел огромный желтый глаз, надвигавшийся на него. Гигантский локомотив выплывал из пурги. Скриппс сошел с путей, чтобы пропустить его. Что там говорил старик Шекспир, что ли: «У кого сила, тот и прав»? Скриппс размышлял над этой цитатой, пока поезд проезжал мимо него в снежной мгле. Сначала проехал паровоз. Скриппс разглядел склонившегося кочегара, забра-

сылавшего полные лопаты угля в открытое жерло топки, и машиниста. На машинисте были защитные очки. Его лицо освещали всполохи из открытой топки. Он был машинистом, и, значит, это он держал руку на рычаге. Скриппс подумал о чикагских анархистах, которые, когда их вешали, кричали: «Хоть вы и душите нас сегодня, вы не можете что-то-там-такое наши души». В Форест-Парке в Чикаго, сразу за развлекательным парком, на Уолдхеймском кладбище, где они погребены, стоит монумент. Отец, бывало, водил Скриппса туда по воскресеньям. Монумент был весь черный и на нем — черный ангел. Это было, когда Скриппс был маленьким мальчиком. Он часто спрашивал отца: «Папа, если мы по воскресеньям приходим смотреть на анархистов, почему мы не можем покататься на русских горках?» Ответ отца его никогда не удовлетворял. Он был тогда маленьким мальчиком в коротких штанишках. Его отец был великим

композитором. Его мать была итальянкой из северной Италии. Странные они люди, эти северные итальянцы.

Скриппс стоял возле железнодорожного полотна, и длинные черные вагоны состава прощелкивали мимо него в снежной круговерти. Все вагоны были пульмановские. Шторки были опущены. Свет пробивался лишь сквозь узкие щели внизу затемненных окон, проплывающих мимо. Поезд не несся с грохотом, как бывало, когда он шел в обратном направлении, потому что сейчас он карабкался вверх по склону к Бойн Фоллз. Он двигался медленней, чем если бы катился под уклон. И все же он ехал слишком быстро, чтобы Скриппс мог вскочить в него. Скриппс вспомнил, каким мастером вскакивать на ходу в повозку бакалейщика он был, когда был мальчиком в коротких штанишках.

Длинный черный состав пульмановских вагонов проехал мимо стоявшего рядом с рельсами Скриппса. Кто ехал в этих

вагонах? Были ли это американцы, которым денежки капали, даже когда они спали? Были ли это матери? Были ли это отцы? Были ли среди них любовники? Или они были европейцами, представителями изношенной цивилизации, уставшими от войны? Кто знает.

Последний вагон миновал Скриппса, и поезд уполз вверх по склону. Скриппс проводил глазами красный хвостовой огонь последнего вагона, растворившийся в черноте, которую теперь заполняли лишь мягко кружащие снежные хлопья. Птица слабо встрепенулась у него за пазухой. Скриппс зашагал по шпалам. Он хотел по возможности добраться до Чикаго уже этой ночью, чтобы с утра приступить к работе. Птица снова встрепенулась. Теперь уже не так слабо. Скриппс положил на нее ладонь, чтобы успокоить. Птица затихла. Скриппс шагал в гору по путям.

В конце концов, не обязательно идти до самого Чикаго. Есть и другие места.

Что с того, что этот критик Генри Менкен назвал Чикаго литературной столицей Америки? Есть же еще Грэнд-Рэпидс. Как только доберется до Грэнд-Рэпидс, он может пристроиться к мебельному бизнесу. Целые состояния сколачивались таким образом. Грэнд-Рэпидс славился своей мебелью везде, где молодые пары, прогуливаясь по вечерам, разговаривали о своем будущем доме. Он вспомнил рекламный щит, который видел в Чикаго маленьким мальчиком. Мать показала его ему, когда они, босиком, прося подаяния, ходили из дома в дом там, где сейчас, возможно, находится Луп. Матери понравилось яркое сияние электрических лампочек на щите.

— Они напоминают мне Сан-Миньято в моей родной Флоренции, — сказала она Скриппсу. — Посмотри на них, сын мой, — сказала она, — потому что наступит день, когда твою музыку будет исполнять Флорентийский симфонический оркестр.

Скриппс нередко часами смотрел на эту рекламу, пока его мать, закутавшись в старую шаль, спала на том месте, где сейчас, возможно, стоит отель «Блэкстоун». Реклама его завораживала.

«Предоставьте Хартману обустроить ваше гнездышко» — гласила она. Реклама вспыхивала множеством разноцветных лампочек. Сначала ослепительно-яркими белыми. Эти нравились Скриппсу больше всего. Потом — прелестными зелеными. Потом красными. Однажды ночью, когда он лежал, свернувшись калачиком и прижавшись к теплоте материнскому телу, и наблюдал, как вспыхивают лампочки, подошел полицейский.

— Вам придется встать и уйти, — сказал он.

О да, большие деньги можно сделать на мебельном бизнесе, если знать, как приняться за дело. Он, Скриппс, постиг все хитрости этой игры. Мысленно все уже было у него решено. Он остановится в

Грэнд-Рэпидс. Птичка встрепенулась — на сей раз радостно.

— Ах, какую чүдную золотую клетку я для тебя построю, моя прелесть, — торжественно воскликнул Скриппс. Птичка доверчиво клюнула его. Скриппс зашагал сквозь метель. Снег начало мести поперек путей. Рожденный ветром, до слуха Скриппса издалека донесся индейский боевой клич.

4

Где это он? Бредя в ночи сквозь вьюгу, Скриппс заплутал. Он собирался в Чикаго после той ужасной ночи, когда обнаружил, что его дом уже вовсе не дом. Почему Люси ушла? Что случилось с Лузи? Он, Скриппс, не знал. Не то чтобы его это волновало. Теперь все это осталось позади. Ничего этого больше не существовало. По колено в снегу он стоял перед железнодорожным вокзалом. На здании вокзала большими буквами было написано:

«ПЕТОСКИ»

Он видел груды оленьих туш, привезенных охотниками с Верхнего Полуострова Мичигана, они лежали, сваленные в кучу, мертвые и задубевшие и наполовину засыпанные снегом, на вокзальном перроне. Скриппс еще раз прочел надпись. Неужели это Петоски?

Внутри вокзала, за задвижным окошком, сидел человек, что-то выстукивавший рукой. Он посмотрел на Скриппса. Может, это телеграфист? Что-то подсказало Скриппсу, что так и есть.

Он выступил из сугроба и приблизился к окошку. Человек за окошком деловито работал телеграфным ключом.

— Вы телеграфист? — спросил Скриппс.

— Да, сэр, — ответил человек. — Я телеграфист.

— Как замечательно!

Телеграфист подозрительно уставился на него. Впрочем, какое ему дело до этого человека?

— Трудно быть телеграфистом? — спросил Скриппс. Он хотел прямо спросить, действительно ли это Петоски. Но он был плохо знаком с этой великой северной частью Америки, поэтому старался быть вежливым.

Телеграфист посмотрел на него с любопытством.

— Скажите, — спросил он, — вы гомосексуалист?

— Нет, — ответил Скриппс. — Я не знаю, что значит быть гомосексуалистом.

— Ну, — сказал телеграфист, — а зачем вы носите с собой птицу?

— Птицу? — переспросил Скриппс. — Какую птицу?

— Ту птицу, которая торчит у вас из-за пазухи.

Скриппс растерялся. Что за парень этот телеграфист? Какие люди идут в телеграфисты? Может, они такие же, как композиторы? Может, такие же, как художники? Может, такие, как писатели? Может,

они такие же, как рекламщики, которые сочиняют рекламные объявления в наших общенациональных еженедельниках? Или они — как европейцы, изнуренные и опустошенные войной, оставившие позади свои лучшие годы? Можно ли рассказать этому телеграфисту всю свою историю? Поймет ли он?

— Я шел домой, — начал он. — Миновал манселонскую среднюю школу...

— Я знаю одну девушку в Манселоне, — сказал телеграфист. — Может, вы ее тоже знаете. Этель Энрайт.

Продолжать было бессмысленно. Надо сокращать рассказ. Надо сообщить только самое главное. Кроме того, было зверски холодно. Холодно было стоять на продуваемом ветром вокзальном перроне. Что-то подсказывало ему, что продолжать бессмысленно. Скриппс перевел взгляд на оленей, лежавших один на другом, задубевших и холодных. Может, среди них тоже были любовники. Одни были